

ным, но он не сделал еще последнего шага — признания перед самим собой собственной вины. Новое, что ведет человека к изменению, — это признание своей вины и потребность самому искупить ее, самому совершить перелом в своей жизни. И Порфирий очень близок к этому. Не неожиданно, а закономерно приходит к нему мысль: «В субботу приобщаться будем — надо на могилку к покойной маменьке проститься сходить!...

— Сходим, что ли? — обратился он к Анниньке, сообщая ей вслух о своем предположении.

— Пожалуй... съездимте...

— Нет, не съездимте, а... начал было Порфирий Владимырьч и вдруг оборвал, словно сообразил, что Аннинька может помешать» (13, 260).

Не ехать исполнить свой долг, — есть в этом гордыня, мирская суетность, — а смиренно идти, именно идти к месту вечного успокоения, испросить прощения, очиститься душой. Наконец, Порфирий признает вину перед покойницей-матерью: «...ведь я ее замучил... я!» (13, 260). Не просто проститься, а покаяться, повиниться необходимо ему. Выход для Порфирия в том, чтобы «пасть на могилу и встать в воплях смертельной агонии» (13, 260). И Порфирий Головлеву решается. Теперь он иной. Кротко и сострадательно обращается он к несчастной Анниньке. Потрясенная, задыхаясь от истерических, страшных рыданий, она кричит: «Дядя! вы добрый? Скажите, вы добрый?» (13, 261). Возможность сострадания, доброты почувствовалась ей в его обращении.

Мысль Порфирия, пораженного тем, что читали за всеобщей, мучительно сосредоточена на двух вещах — безмерных страданиях, которые могут все искупить, и безграничном прощении, и эта убивающая, терзающая мысль: «Всех простил! не только тех, которые т о г д а напоили его оцтом с желчью, но и тех, которые и после, вот теперь, и впредь, вовеки веков будут подносить к его губам оцет, смешанный с желчью... Ужасно! ах, это ужасно!» (13, 261) — разрешается не вспышкой безысходного отчаяния, а мольбой о прощении, жаждой его. В них и понимание своей мерзостности, и надежда на сострадательность Истины, на ее способность принять в себя раскаяние терзаемого своим прошлым. Теперь Порфирию дико и странно не видеть вокруг никого, он не понимает, как могло случиться, что столько людей стали «умертвиями» и он повинен в этом.

«Надо меня простить — продолжал он: за всех... И за себя... и за тех, которых уже нет... Что такое! что такое сделалось!? — почти растерянно восклицал он, озираясь кругом: — где... все?...» (13, 261).

Особенности мировоззрения Щедрина не связывали его положительных взглядов с идеалами христианскими. Щедрин обращается к Христу как к самому всеобъемлющему выражению индивидуального страдания за высшую Правду, бесконечного терпения, безграничного прощения в вечном порыве к Истине. С помощью этого достигается и большое правдоподобие героев — где еще, как не в религии, Христе, могли открыться высшие понятия и образцы пустоутробному помещику Головлеву, которому неведомы были другие формы духовной жизни.

Уменьшительный суффикс в имени главного героя подчеркивает мелкость и ничтожность гадкого существа, в то же время он придает саркастически-уничтожительный оттенок прозвищу Порфирия Головлева. Атмосфера последних страниц романа по-новому освещает это прозвище. Фигурирование рядом имен Христа и Иудушки уже неизмеримо снижает, почти уничтожает щедринского героя и невольно возвращает к вечной оппозиции Христа и Иуды и усиливает звучание идеи всепрощения и торжества Истины, а от этой вечной оппозиции опять перебрасывается мостик к материалу романа — ускоряется вытеснение Иудушки Порфирием Владимырьчем.

Очевидно, что просветительное начало в творчестве Щедрина не означало морализаторского подхода к проблеме личности, хотя человеческая личность и рассматривалась под особым углом зрения и к ней подходили